Маргарита
СОСНИЦКАЯ

---

*Заметки
на обочине*

18+

Маргарита Сосницкая
Записки на обочине. Рассказы

«ЛитРес: Самиздат»

2002

Сосницкая М. С.

Записки на обочине. Рассказы / М. С. Сосницкая — «ЛитРес: Самиздат», 2002

Каждый рассказ – это маленькая жизнь. А жизни настолько разные, что порой трудно поверить: это всё разворачивается параллельно в одном пространстве, в одно и то же время. Наше с вами время, о котором можно сказать словами классика: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

Содержание

Житие	6
Он герой	9
Две куклы	12
1	12
2	15
Человек в кошачьей шкуре	16
Немой поединок	19
Матери-одиночки	21
Зинаида	21
Аделаида	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Рассказы

Житие

Богомазами на Украине называли иконописцев. Прозвище это переходило к детям и внукам в качестве фамилии. У богомаза Серафима детей не было. Он жил монахом, хотя схимы никогда не принимал. Его имущество заключалось в деревянном ящике с углями, клеем, прописями и подрумянками, который он сначала носил на ремне через плечо, а со временем приделал два колеса и ручку и возил за собой. Он ходил от церкви к церкви и либо расписывал стены, либо подновлял старые росписи, либо писал иконы для иконостаса и прихожан; прослышав о его появлении, они шли к нему с просьбами написать кому Богородицу, кому Пантелеймона всецелителя, кому Чудотворца. Нередко просили об иконе своего ангела, хранителя на небесах.

Серафим никому не отказывал и жил при церкви, пока выполнял все заказы. Люди, не только те, которым он писал, но все окрестные жители несли ему еду, когда надо, одежду и древесину, из которой он делал доски для икон.

Питался Серафим так, что от приношений ему кормились переходящие нищие, не переводящиеся на паперти. Круглый год у Серафима был пост: от объедания рука тяжелеет, а для иконописания надобна легкая рука. Писать Серафим принимался на рассвете; вставал и того раньше, молился и садился перед доской. Устремлял взгляд в поле и долго смотрел, будто хотел увидеть отблеск мира немирного, и видел того, чей образ собирался изображать: Серафима ли Саровского, Святого ли Александра Невского, Богоматерь ли Владимирскую. И линии безошибочно ложились на белое поле доски – поправлять или переделывать не приходилось.

В лицах святых все просто и открыто, черты прямы и величественны, уста смиренны постом, глаза из-под широких век устремлены в душу молящегося. Ничего лишнего. Лики ясны и спокойны, душа умыта молитвой. Ни смятенья, ни смуты. Иногда суровость; но Серафим больше любит писать Пантелеймона, радостного, светлого юношу в ярком синем или красном плаще. Его Пантелеймоны пышут здоровьем, щеки их румяны, а глаза веселы. Глядя на такого, не то, что хворый выздоровеет – Лазарь воскреснет.

Любил Серафим и Александра Невского; он выходил у него суровым, даже грозным, и воина-князя в нем было больше, чем святого.

Но любимейшим из всех святых, просиявших в земле Русской, был тезоименник Серафима старец Саровский. Он до вечерних зарниц мог выписывать его мягкую пушистую бороду, плавные переходы ее от черноты до седины, растушевывать тени на впалых щеках, выводить узоры на епитрахили и рукавах. Ни одной резкой линии, ни одного выкрика или угла – все полупшепотом, все округло, смягчено, елеяно.

Иконы свои Серафим называл сретениями: каждая из них была свидетелем его встречи со святым. Икону видели люди и тоже встречались с этим святым, забирали и уносили в свои углы – святой поселялся в их доме.

А Серафим шел дальше, в другое село, в другую церковь. За ним по нахоженной дороге дребезжал, пылил на колесах дощатый ящик с углями, красками и вохрениями.

Однажды по весне, когда Серафим трудился над золочением Царских врат во храме Георгия-воина городка Т-ска, увидел он на службе молодую княжну Гайворонцеву и понял, ни годы поста, ни святости не смирили в нем кровь – в сердце его, не знавшем иной любви, кроме любви к святым, загорелась любовь к женщине.

Серафим быстро вышел из храма, долго бродил среди высоких трав, травы хлестали его по лицу, по рукам, но он ничего не чувствовал. Он думал о жизни с женой и не видел в ней места своим угодникам и целителям.

На следующий день Серафим стал собираться в дорогу. Пошел проститься со священником – и на пороге храма столкнулся с княжной Гайворонцевой. В ее голубых глазах вспыхнуло две свечи – она опустила взор.

– Мне нужен для моей опочивальни образ Божьей матери, – прошептала она.

– Неужто нет? – Серафим не заметил, что и он шепчет.

– Есть, конечно. Да Богородица вся покрыта серебряным окладом, а мне ее всю видеть хочется.

– Что ж... Приходите... через неделю, – он помолчал, глаз не поднимая, и прибавил, – к заутрене.

Серафим день не ел.

Молился, уходил в березовую рощу, пил из родника.

День спустя, сел за работу. Смотрит долго в даль и видит, как из голубоватой дымки выходит женская фигура в длинном алом одеянии и идет по направлению к нему. Подходит ближе – и он различает княжну.

Такою он и изобразил Приснодеву. Всепетую Мати. Невесту Невестную. А с этим понял: княжна вошла в сонм его святителей. А, может, наоборот? Она всегда была там, да он того не знал? И не Приснодева его похожа на княжну, а княжна сошла с его икон, воплотив в себе его Приснодеву?

Как бы там ни замыкалось кольцо, а на седьмое утро, когда еще не успел стихнуть последний малиновый звон, перед Серафимом предстала княжна Гайворонцева, держа в руках свою икону.

– Ты монах? – спрашивала она.

– Нет.

– А жена у тебя есть? – потянулась к нему княжна, как подсолнух к солнцу.

Серафим посмотрел ей в глаза:

– Не могу я на тебе жениться.

– Почему?

– Да что ж это будет! – он схватился за голову.

– Что же? По чину все будет.

– Ты же, – он наклоном головы указал на новую икону, ты... Богородица. Как же возможно на Богородице жениться? Прикоснуться, осквернить.

– Скажи, а дождь, когда падает на землю, орошает ее, и она потом родит пшеницу, золотую, он ее оскверняет?

Серафим отстранил княжну с дороги, вырвался на свободу и почти побежал в сторону кручи.

– Землю, – кричала ему вдогонку княжна, – если дождь ее не орошает, постигает засуха! Землю пересекают трещины, пшеница золота-а-а-я гибнет!

Серафим услышал ее слова и остановился.

Княжна догнала его, и они пошли рядом к реке, вдоль реки, в березовую рощу.

– Прими постриг, уйди в монастырь, – говорил Серафим, – а я при монастыре иконником останусь. Каждое утро на молитве видеться будем.

– А как же пшеница? – возразила княжна.

И Серафим сдался.

Так рука об руку они шли долгие годы и были счастливы, потому что он уважал в ней женственность, а она в нем подвижничество. Весной и летом Серафим уходил по привычным дорогам; на осень и зиму оставался дома с семейством.

Так длилось до великой и страшной революции.

Теперь, случилось, Серафим шел к церкви, а приходил на ее развалины, где в алтаре уже буйствовала дикая трава. Покрасневшими от холода руками он писал на полуобрушенных стенах своих святых. Их лики больше не светились радостью и ликованием, брови были сдвинуты, взгляды темны и суровы, одежды черны. Каждому из них Серафим вкладывал в руки меч.

Низко по небу ползли свинцовые тучи.

И вот в один ненастный день в знакомом городке к храму Георгия-воина, в который давеча постучал дорожный посох Серафима, прибыл красный отряд. Закуролесилась охота на батюшку. Он заперся в доме, но дверь вышибли. Он выбрался в окно и хотел укрыться в лесу. Бежать до леса надо через поле. В поле его и настигли, приволокли к храму (когда волокли, плевали в лицо, осыпали грязной бранью), швырнули под дверь – навели ружья. Дверь приотворилась, из нее протянулась бледная рука и под треск выстрелов втащила батюшку внутрь. Серафим защелкнул щеколду. Стало слышно, как о бронзу ударялись и отлетали пули, как начали бить о нее приклады.

Серафим наклонился над батюшкой, неподвижно лежавшим на полу, – изо рта святого служителя колокотала кровь, а душа уже устремилась на небо.

Дверь покорно раскачивалась под напором крепких красноармейских плеч.

Серафим опустил голову новопреставленного на холодный пол, осенил крестом, отошел к алтарю, стал на колени и громко зашептал:

– Якоже первомученик Твой о убивающих его моляше Тя, Господи, и мы припадающе молим. Ненавидящих всех и обидящих нас прости...

От шепота его колыхалось пламя свечи, горевшей перед иконой.

Дверь подалась и расхристанные мордovorоты, спотыкаясь о тело батюшки, ворвались в храм. Они перевернули в нем все вверх дном, но никого не нашли. Только под расписным куполом парил сизый голубь. По нему открыли пальбу. Голубь опустился ниже, медленно опи-сал над алтарем круг и нехотя вылетел из храма. С крыльца навстречу ему вспорхнула белая голубка – начинался террор на знать.

Пара голубей взмыла высоко в небо и растаяла в солнечной дымке.

Он герой

Марьяне Гвозденович

На бурой табличке, вросшей в шершавую больничную дверь лягушачьего цвета, всего две строчки:

Посещение больных
с 15.00 по 17.00.

До пятнадцати еще оставалось минут семь, и Люся села у двери на большую сумку подождать.

Сегодня был большой день. Ее брат Степан выходил из больницы. Не выписывался, а именно выходил, своими ногами, даже без палки. Он получил ранение в коленную чашечку еще в начале афганской войны в одной из перестрелок с мужетдинами. Многим размозжили голову; Степану повезло – он отделался чашечкой, и никогда никому не рассказывал о том, что видел тогда на плацу. Не по предписанию или подписке, а потому, что разве такое расскажешь? Он сам после этого стал сердечником. Но это ни в коем случае не относилось на счет войны, просто слаб здоровьем. Ну, да это мелочи: люди с тремя инфарктами до девяноста лет живут – а вот кости не так срослись! Степана принесли домой на носилках, пересадили на диван и просидел он на нем, почти не вставая, восемь лет, как один день.

Надо было оперировать ногу, ломать кости заново и заново их сращивать. Но! Но сердце слабое, может не вынести наркоза. И Степан жил восемь лет с больной ногой, которая не просто была больна, но еще и зверски болела. Каждое утро он открывал глаза и говорил себе: так, надо собраться с силами, сжать кулаки и зубы, дожить до обеда. Что у нас сегодня на обед? Каша геркулес с тушеными кабачками? Прекрасно. От трудов пищеварения можно будет забыться, хоть боль и во сне приходит, то костлявой старухой с клюкой, то наглой девкой, которая хохочет в лицо, а потом уж до вечера как-нибудь...

Если он когда-нибудь встанет на ноги, в жизни больше не откроет ни одной книжки, не включит телевизора. Спасибо, начитался и насмотрелся за 365 дней. Это ж сколько помноженных на 8 будет? Минуточку... 2920 дней. Считай, 3 тыщи. Сколько ж это страниц, если по меньшей мере десяток в день, и сколько телечасов?! Гореть бы им синим пламенем! Но это все же легче и удобней, чем добраться в сортир. Вот где пытка, иначе не назовешь. Надо подняться, маневрируя костылями так, чтобы как можно меньше потревожить боль. Змею чешуйчатую, черную; свернулась в коленном дупле и чуть что – впивается зубами в живое и сосет, сосет.

Где ты начинаешься, Степан Затырнов? Там, где начинается моя боль.

Где ты кончаешься, Степан Затырнов? Там, где кончается моя боль.

Человек, вообще, существует оттуда и дотуда, откуда и докуда простирается его боль.

Сортир рядом – пять шагов здоровому человеку. Но ему, Степану, это пять минут пытки. Он идет, подтянув ногу поднятием бедра, чтоб ничего она не коснулась, идет бледный – белый, пот со лба скатывается, идет. Он не может допустить, чтоб мать – эта боль ее уже на тот свет отправила – или Люська, хоть и старшая сестра, а все ж молодая женщина, судно ему подставляли. Да и на нем пока приловчишься, ногу изведешь. И он шел. Хорошо, что с детства про Мересьева читал. Но какой тут Мересьев! Тот разве терпел столько?

К кому только Люся не обращалась, чтоб прооперировать брата, – никто не брался. Риск большой. «Лечите сердце», – говорили. И вот, наконец, один, молодой, степановых лет хирург взялся. И операция прошла багополучно. Прошли и два восстановительных месяца в больнице. Нога больше не болит! Пусть потихоньку, но можно начинать ходить! И сегодня, после

восьми лет жизни во имя ноги, которые, что скромничать, Степан вынес героически, он выходит. Выходит! Своими ногами!

Дверь больницы щелкнула щеколдой и пожилая санитарка ее открыла.

Люся схватила сумку и почти побежала в палату Степана.

Он сидел на подушке, до пояса укрытый одеялом, и смотрел в окошко.

– Степа, родной, – чуть не плакала от волнения Люся, – какой день! Жаль, мама не дождалась. Но она тоже, где-то там, видит нас, и счастлива!

Степан посмотрел на нее и вяло склонил голову к плечу в знак согласия.

– Желтый ты весь, – радостно тараторила Люся, – но это ничего. Начнешь выходить на воздух, щеки станут красными. Работать пойдешь, аппетит появится! Сте-опа. Жизнь, это жизнь начинается.

Степан неудачно улыбнулся: конечно, для нее жизнь начинается. Замуж сможет выйти, а не сидеть в девицах ради брата-калеки. Степан вдруг разозлился – он разве просил сидеть? Но тут же смягчился – Люся никогда ни намеком, ни вздохом его не попрекнула. Он попытался улыбнуться поласковой.

– Я тебе вещи принесла, – она разложила на койке. – Костюм. Ты в нем на выпускном вечере гулял. Ох, и велик он тебе теперь. Болтаться будет, как на палке. Ну, ничего. Зато приличный. В такой день надо празднично одеться!

Что другого костюма просто не водилось, говорить было излишне. Хорошо хоть этот не продали, бедствуя. И зачем говорить, когда все и так понятно?

– Ты, вот что, – откинул одеяло Степан и свесил ноги.

– Чудо! – всплеснула руками Люся, видя, что они свисают, как ни в чем не бывало. – Это же просто чудо! Волшебство!

Степан нахмурился, накинул на шею полотенце.

– Ты подожди меня... Я схожу... в душе обмоюсь.

Она удивилась:

– Как? Ты еще не обмылся? Я, будь на твоём месте, я с утра бы уж была готова, уж оделась бы и бежала, бежала по улицам, по паркам, скорей!..

Степан так на нее взглянул, что она закрыла рот ладонью и замолчала.

Он шел по коридору, изредка придерживаясь за стену. Нога не болела. Дупло пустовало. Выползла змея. Где она теперь пригелась? Не надо больше сжимать зубы. Не нужна и ловкость в обращении с костылями. Степан закрыл за собой дверь душа, щелкнул задвижкой, взял в руки полотенце.

Люся пошла к операционной. Ей попалась знакомая медсестра:

– Поздравляю, поздравляю! – пожалала она Люсе руку – Вы не представляете, как мы все, все рады. Все наше отделение. Я сама переживала за Степу, как за родного. Вы Виктора Платоновича, наверное, ищите?

– Его, его, дай Бог ему здоровья! – чуть не плакала Люся от умиления и от желания расцеловать эту прекрасную медсестру.

– Он в ординаторской.

Люся робко постучала в ординаторскую. Ей ответил энергичный голос.

– Можно, Виктор Платонович? – открыла Люся дверь.

Виктор Платонович встал из-за стола и пошел ей навстречу.

Люся хотела ему сказать что-то очень теплое, благодарственное, но слова парализовали горло, она ничего не могла с собой сделать, лицо ее вытянулось удивленно и растерянно. Она закрыла его руками и затряслась.

– В чем дело? – испугался Виктор Платонович. – Что случилось?

Люся открыла лицо – оно смеялось.

Виктор Платонович облегченно вздохнул. Дал ей последние наставления по уходу за братом, пожелал удачи и Люся, лепеча что-то несвязанно-восторженное вышла из ординаторской, пятаясь и кланяясь.

Вернулась в палату.

– А Степа не приходил? – спросила соседа, но это было излишне, так как костюм лежал на кровати нетронутым.

Люся еще послонялась по коридору. Хотелось побыстрее отсюда, на воздух, на ветер. Степан, однако, что-то тянул.

Еще погодя она обратилась к санитарке с тем, что Степан пошел мыться уже как час, и все нет. Санитарка открыла дверь душевой и крикнула:

– Затырнов!

Ей никто не ответил.

Люся стояла в коридоре и ждала. Страшный крик санитарки ее настиг в затылок.

Люся прислонилась к стене и поползла вниз. В тумане, в жидком киселе она видела, как мимо нее пробежали медсестры, кто-то из больных, Виктор Платонович...

Степан душа не принял. Повесился на полотенце, привязав его к трубе.

У Люси началась горячка. Жуткий припадок случился на похоронах, когда она увидела Степана в том самом выпускном костюме.

Виктор Платонович, как только мог, приходил к ней и сидел рядом. Или стоял у окна и мрачно курил. Табачный дым выводил вопросительные знаки. В воздухе висел, кричал, расшатывал тишину тиканьем будильника один вопрос: почему? Почему Степан это сделал? Почему-му?

– Не мог он... до операции?! – не выдержал, закричал Виктор Платонович.

Люся посмотрела на него и отвернулась к стенке.

– Не мог.

Виктор Петрович вздрогнул от ее металлического голоса.

– Но почему после смог?

– Он был герой. Жить с такой ногой, с такой болью – надо быть героем. Он был им восемь лет. Боль давала ему возможность быть героем. А когда ее не стало, больше не нужно было быть героем. Он не смог быть обыкновенным человеком.

Вы его им сделали, Виктор Платонович.

Две куклы

1

Кто ездил поездом Москва – Донецк, попадет в рай. Бурые окна, грязные полки, по шесть человек с детьми и мешками в проходных отсеках, один на весь вагон туалет с невысыхающей рыжей лужей под ногами, ни капли питьевой воды, таможня и стоянки, бесконечные и бесчисленные стоянки чуть ли не в чистом поле, на каких-то мелких безымянных полустанках. На эти стоянки уходит почти десять часов. И вместо того, чтобы прибыть домой в восемь вечера, обмыться, поужинать и лечь спать на чистые простыни, надо трястись в продуваемом сквозняками, провонявшимся носками и туалетом вагоне еще ночь. Но, как говорят французы, пасьянс, пасьянс и пасьянс, что значит терпение, терпение и терпение. И немного философии. На стоянках можно выйти из вагона, размять ноги, хлебнуть голоток свежего воздуха. В дороге в тысячу километров это немаловажно и для здоровья полезно.

В городе Валуйках поезд стоит час. На вокзале бойко идет торговля. В киоске можно купить четыре пирожка с мясом. Четыре и не меньше. Потому что самая ходовая купюра – сотня. Пирожок стоит два с половиной червонца, а сдачу давать нечем. Сдачу, если берете другой товар: ситро, или там плитку импортного шоколада, дают пирожками. Здесь же, вдоль состава, торгуют купонами за рубли, рублями за купоны, мороженым, вареной картошкой с укропом, малосольными огурцами, пивом и абрикосами на ведро. Восьмилетняя Катя идет вдоль торгующего ряда, выложившего свое добро прямо на землю, лижет ярко-розовое мороженое и не слышит, как тетка кричит ей:

– Да, кусай ты его! Оно ж растало, течет в три ручья!

Кате все интересно. Такого она никогда не видела. Женщин в цветных платочках бабулек с мисками съестного, инвалида без ног на доске с колесами, торгующего пустыми бутылками, тройку облезлых собак, роющихся в урной. Кате весело. Она родилась за границей и первый раз на своей, не на теткиной или отцовой, памяти едет к бабушке. Мороженое, больше половины, падает на землю и расплзается в розовую кляксу.

– Ух, бы мне всыпал папка, – слышит Катя и поворачивается, – если б я так харчами разбрасывалась!

Рядом стоит девочка, чуть поменьше Кати, хорошенькая, сероглазая, без передних зубов, отчего буква «с» у нее выходит как «ф» – «ефли б», с расплетенной до половины длинной косой.

– А, – говорит Катя, – ничего. Сладкое вредно есть.

– Это врединам вредно, – отвечает девочка, – а мне хорошо.

– А зубы, зубы, – смеется небидчивая Катя и показывает свои, ровненькие. – У меня уже новые.

– Катя, Катя! – зовет молодой человек в рубахе навыпуск. – Ты где? Ты ж знаешь, шо я тебе сделаю!

Хватает девочку с косой, оказывается, тоже Катю, за руку и тащит за собой.

Поезд свистит и вздрагивает, на перроне начинается беготня, Катю тоже хватают за руку, бегут с ней к вагону, подсаживают на ступеньки... Но тревога ложная. Поезд еще будет стоять десять минут. Здесь, в тамбуре, они встречаются снова, Катя французская русского разлива и Катя донецкая. Кате французской тетка, да и отец перед отъездом, строго-настрого запретили выбалтывать, откуда они едут – поезд из Москвы, значит, и они из Москвы и ни слова больше.

– Почему? Почему? – выпытывала Катя.

– Потому, – рычала тетка. – Чтоб за иностранцев не приняли.

- Почему? Почему?
- Потому что мы не иностранцы!
- Почему?
- Потому! – рычала тетка.

Зато Катя донецкая все про себя рассказала. И что папка у нее шахтер, а шахту закрыли, она обваливалась, и что ездили они к тетке в Звенигород, на каникулы, там речка и подружка, тоже Катя, а в детсадике у них, в группе три Кати, и во дворе, в Донецке, две Кати, и вот в поезде тоже Катю встретила. Одни Кати.

Тетка французской Кати стояла рядом, слушала и вздыхала. Уж она ни за что не хотела бы, чтобы ее племянницу звали таким заезженным именем. Но тогда, восемь лет назад, Катя – это звучало ново, модно, с налетом старины. И вот на тебе. На каждом шагу Кати. А ведь у матери была мысль записать дочь Эвелиной. Но в последнюю минуту что-то в голову стукнуло и записали Екатериной. О-хо-хо... Видно, дух святой Екатерины тогда в силу вошел...

Катя донецкая ехала в том же вагоне, что и Катя французская. Девочки стали бегать друг к другу, задевая спящих за пятки.

Катя французская потребовала, чтобы тетка достала ей куклу с одежками. Тетка нахмурилась, но достала. Кукла была порочная. На куклу непохожая. Крутые бедра, узкая талия, высокий бюст. Короче, Барби. С надушенными золотыми волосами до пят, можно косы плести. И платица – газзовые розовые, изумрудные бархатные, золотые цирковые с такими же золотыми сапожками да еще на застежках.

Катя донецкая ухватила за куклу, раздевала ее, одевала, делала ей прически, изображала с ней танцы и скачки на коне. Девочки притихли и возились в уголке у окна. Тетка, довольная, что за ними не нужно присматривать, раскрыла книжку и углубилась в чтение. Пришел донецкий папа спросить, не мешает ли Катька, а то он ее... Но девочка восторженно стала показывать ему куклу и вопрос отпал сам по себе. Папа пожал плечами и ушел. Через какое-то время девочки пошептались, встали и исчезли. Сколько времени прошло – неизвестно; страниц пять, за которые тетка успела побывать в монгольских степях, – Катя французская вернулась одна, села около тетки и прижалась к ней головой.

- А где ж твоя подружка? – спросила тетка.

Катя махнула рукой в ту сторону вагона, где было ее, подружки, место.

- А что ж вы не играете?
- Они едят.
- А где ж твоя лялька?

Девочка потерлась щекой о теткино плечо:

- Подарила.
- Как? Твою Барби?
- А, надоела Барбоска.
- Что? На тебе, Боже, что нам не гоже? – подняла брови тетка.

– А. Ничего ты не понимаешь, тетя, – безнадежно произнесла девочка. – Просто у той Кати никогда не было куклы. Она хотела куклу, а папа не покупал. Катя стала его просить, чтоб он купил ей такую Барбоску. А он ругает ее, злится, не приставай, что я тебе воровать пойду? Прилипла. А я сказала: дарю, кукла теперь вашей Кати.

- И тебе не жалко?

Катя ничего не ответила, отодвинулась к окну и стала смотреть на пробегающие мимо картины.

Пришел донецкий папа, рубаха заправлена в штаны и пуговицы все застегнуты; в руках промасленный сверток.

- Вы правда Катьке куклу дарите? – спросил он у тетки.
- Вы у Кати спрашивайте. Она – хозяйка. Это ее кукла.

Катя повернулась:

– Была моя. А теперь вашей Кати, я же сказала.

– Ну... – папа виновато замялся. – Вот, – развернул масляный сверток и протянул Кате с теткой по пирожку. – Не побрезгуйте. Мы туда неделю назад ехали, так на сотню пять пирожков брали. А сегодня назад, и уже только по четыре дают.

2

Девятого сентября начался третий в жизни Екатерины Бадмаевой учебный год, из которых первый во Франции, так как отцу попалась работа в русско-французской торговой палате. Он обещал, что долго это не продлится, потому что французские учебники ему не нравятся. «Нас с детства идеалам учили, – ворчал он, – другой вопрос, какими были эти идеалы. Но идеалы подменили идеалами, пусть антиидеалами, а тут что? Взрослые дети, а у них все какие-то плюшевые маскотки сюсюкают. Плюшем детям мозги начиняют. Чего же тогда от взрослых ждать!»

Но у Катерины на все был свой взгляд. Во Франции есть мороженое, а в Москве нет. Во Франции у нее есть бассейн, а в Москве нет. Значит, во Франции хорошо, а в Москве плохо. И никакими идеалами ее не переубедить. Дети – практичный народ.

Уже через полмесяца Катя получила приглашение – розовую карточку с набивными серебрястыми розами – на день рождения Катрин Шевалье.

Катрин жила с родителями в одноэтажном коттедже в трехстах метрах от школы. Детей встретила мать Катрин – женщина с девичьей фигурой в коротких брючках и кружевной шелковой блузе, горничная в наколке и массовик-затейник, нанятый для организации праздника. Детей провели через большую залу с мраморным камином, старинной мебелью, зеркалами, гобеленами и пейзажами в рамах, в сад, где прямо на траве была расстелена белая скатерть, а на ней стояли кока-кола, пепси-кола, сухая картошка в пакетах, кукурузные хлопья, печенье, конфеты и фрукты. Катрин Шевалье внесла яблочный пирог с девятью свечами, задула их с трех попыток, под аплодисменты и пение «С днем рожденья, Катрин, с днем рожденья тебя!», пирог разрезали, раздали гостям и они стали вручать подарки, красивые, яркие свертки с пышными бантиками из бумажной тесьмы. Катрин складывала их горкой, затем брала по одному, терпеливо разворачивала, разглаживала оберточную бумагу, убирала ее и только тогда рассматривала подарок. В первом свертке была Барби-русалка. Во втором – Барби-суперстар. В третьем – Барби-горнолыжница. И так далее. Катрин ровненько выстраивала всех Барби в ряд и они стояли с неизменным застывшим выражением счастья.

Только в одном свертке оказалась не Барби, а какая-то мордатая, краснощекая кукла с глазами-пуговицами в длинном красном платье с узором по краям, в бусах, с косой и в платке. Катрин поставила и ее в ряд со всеми Барби, но она, громадная, прямая, выше и шире всех, никак с ними не вязалась. Того и жди, сейчас как заорет что-то да как хлопнет чем-нибудь по чему-нибудь.

Все посмотрели на Катю-русскую. Она отвернулась в сторону, как будто не причем, и замурлыкала непонятную песенку. Мурлыкала, а сама злилась: «Говорила ж папке, давай Барби купим. Так нет, всунул мне эту клушу!»

Через несколько дней Катрин Шевалье явилась в школу, помимо ранца, с сумкой. На большой перемене она достала из нее трех Барби и сказала, что это ее старые Барби, ей надоели и она хочет их продать. Всего по двадцать франков за штуку. И впридачу к каждой подарит по платью. Барби никто не хотел брать. У всех были свои. Но Катрин все-таки нашла покупательниц, кажется, из старших классов, кажется, уступив на два-три франка дешевле.

Дома она бросила вырученные деньги в свинью-копилку и сказала об этом матери. Мать ее похвалила.

Человек в кошачьей шкуре

Почему именно эта? Бурая, лохматая, с черными ушами и лапами? Потому что в тот вечер я припозднилась, шел дождь и я решила переждать минуту в переходе, а ко мне пристала дебелая тетка в дебелой шапке: возьми котенка?.. Я увидела комок черного пуха и умилилась: мать у него, я согласна, кошка, но отец не иначе, как медведь, бурый, косматый мишка.

– Что ж, – я прикинула в уме все неудобства с песочком и ободренным диваном, – давайте вашего котенка...

Но тетка не просто так отдавала, а за такую цену, что я вздрогнула.

– Таких денег у меня нет.

– А какие есть?

Я выпотрошила кошелек и набрала половину.

Тетка тяжело крякнула, забрала у меня из рук бумажки и сунула этот горячий, мягкий комок, который отчаянно орал и, тараща глаза, карабкался по пальто.

Дождь тем временем успокоился; спрятав зверя на груди, я сгорбилась и побежала к дому.

Первый день (порода, что ли, такая? – дивилась я) этот котомишка не мурлыкал. Ничего не ел и не пил. На второй, рыча и давясь от жадности, срубил яйцо вкрутую, прыгнул ко мне на колени и завел песню самовара. Хоть самовара я никогда не держала, но бабушка рассказывала, что самовар, когда в доме мир и уют, мурлыкает.

И вот теперь зверь носится у меня по комнатам, взлетает на штору, как бравый пожарник, и устраивает охоту на мух. Вы обратили внимание, что коты не разбегаясь с места могут взять высоту, раз в десять превышающую их кошачий рост? То есть они побивают рекорд любого чемпиона мира по прыжкам в высоту. Представьте, Бубка или какой другой атлет прыгает на двадцать метров вверх! И это без шеста, тренировок и разбега!

Впрочем, дело не в феноменальности котов или моей личной кошки, а в строении их кошачьих мышц. Феноменальность моей кошки заключалась в том, что при всех поверженных мухах, она не разбила ни одной чашки или вазы и даже не столкнула матрешки на шкафу.

По утрам она будила меня тем, что остреньким, шершавым язычком лизала пальцы – а это приятней любого самого сладкоголосого будильника. Я запускала руку в ее мех и не могла добраться до костей: их, кажется, и не было; неведомый, необъяснимый дух поселился в комок черного пуха и смотрел на меня желто-песочными глазами.

Вы уже поняли, что котомишка оказался кошечкой, и я назвала ее Басей.

Теперь не я, а она стала полной хозяйкой дома. Потому что я, во-первых, ухажу иногда на целый день, а она все время дома; во вторых, она может залезть в самые дальние углы шкафа и на шкаф, на все книжные полки, во все ящики стола, в посудомойку и даже в духовку, а я нет. Да что там в духовку – та была не включенной; однажды ее кошачье сиятельство Баська заснула в шерстяных кофтах, ожидавших стирки. Я сгребла их в охапку и заложила в стиральную машину. Да не просто заложила, а поставила на программу «шерсть» и программу запустила. Когда машина отгудела сначала, как самолет на взлете, потом, как самолет при посадке, я открыла ее, и оттуда выползла Бася. Потом она отлеживалась сутки под диваном, чем напомнила кота моего детства, из которого я пылесосом выуживала блох. Но это другая история. А пока Баська отлеживалась, я смогла спокойно писать. Что такое писать? Это водить ручкой по бумаге. Только охота на мух так увлекала ее кошачество, как мое сосредоточенное вождение пером по бумаге. Она следила за ним на присогнутых лапах, время от времени ударяя хвостом, потом совершала прыжок и избивала ручку лапами. Мне оставалось порадоваться, что я не художник и не пишу маслом, не то что бы это было?

Летом я стала уезжать на два-три дня. Накладывала Баське яиц, куриных потрохов, творогу, наливала воды и спускалась в гараж. Баська ходила по балконным перилам (мы с ней

живем на втором этаже) и грозно мяукала. Я садилась в машину и исчезала. Когда появлялась, она в буквальном смысле слова кидалась ко мне на грудь. Пока я возилась с замком, она мчалась к двери так, что был слышен топот её лап. Дверь открывалась и моя котомишка, все больше походящая на котомедведя, висла у меня на груди и осыпала ласками.

И вот однажды, как обычно оставив ей запас провизии, я спустилась по лестнице и вышла из подъезда. И вдруг над головой раздался истошный, нечеловекоподобный крик. Не успела я сообразить, в чем дело, как к ногам моим рухнула черная тяжелая масса. Бася! Она тут же встала на лапы и, крича одно непрерывное «мя-а-а-а», села мне на ноги, бодая их головой.

Я была сражена. Никто еще ради меня не бросался с балкона. Только обещали. А тут живое бессловесное существо... Я этого не заслуживала. Конечно, она могла это сделать не из-за меня, а из тоски и ради кого угодно, кто взял бы ее в тот дождливый вечер. Но это была я. Почему именно я? И кто такая она? Что за дух теплится в ее легкой, пушистой шерсти?

Я взяла кошку с собой.

Она оказалась занятой спутницей.

Обследовала все сиденья и под ними, куда я, понятно, вовек не забралась бы, и угомонилась рядом со мной. Поставила передние лапы на стекло и смотрела на дорогу, иногда мяукая одним неммым раскрытием пасти. Потом прошлась по рулю и улеглась у ветрового стекла, разогретого солнцем.

Но кошка – не собака. Она, сказано, гуляет сама по себе. А у меня ни поводка, ни веревки и масса дел. Мне надо зайти, побывать, посетить. Что делать с кошкой?

В одном никаких сомнений: повсюду на дверях висит табличка «нельзя» и нарисован перечеркнутый пес. А кошкам, значит, можно? Я смело заходила во все учреждения и Баська моя за мной, не отставая ни на шаг! Без поводка, без веревки!

С тех пор я брала ее на прогулки. Она бежала рядом бодрой трусцой и вертела головой по сторонам. Она так пристрастилась к этим прогулкам, что садилась под дверь и назойливо орала, чтобы ее вели гулять. Но я потому и не завожу собаку, что у меня нет ни времени, ни терпения ее выгуливать.

И я стала выпускать кошку одну. Она бегала по двору, шныряла по деревьям, как белка, и возвращалась домой.

И вот я уехала на неделю, оставив квартиру подруге, ссорившейся с семьей. Бася венулась со двора и стала кричать под дверь. Подруга открыла. Но Бася не вошла. Она долго смотрела на подругу, которая как могла, даже колбасой, зазывала ее в дом, но Бася отступала спиной назад, пока не юркнула вниз по лестнице.

Она пришла на следующий день, попросилась домой, но опять, увидев подругу, удрала. Так продолжалось несколько дней. Потом кошка исчезла.

Я узнала все это, когда вернулась.

Я обходила все подъезды и подвалы, опросила всех соседок и зашла в дома рядом – никто бурой кошки с черными ушами и лапами не видел. Вернее, видели многие, но куда она делась, никто не знал.

Теперь я поняла, что Баська была для меня важнее всех дел и поездок. Никто ради меня не бросится с балкона, никто не уйдет из дому, потому что меня там нет, и уж конечно никто не станет следить за каждым движением моего пера.

Баська – милый мой, дорогой человек. Похожий на кота, медведя, медведицу. Все, даже оттенки своих желаний и чувств, передавала она одним «мяу». Разве это не чудо? Попробуйте вы.

Второго такого человека кошки нет. Нет моей Баськи, Басечки, Баси. Нет моей мягкой, теплой подружки. Где она теперь?

Я смотрю по вечерам на звездное небо.

Кого там только нет. И Рыбы, и Большая Медведица, и Малая. Может быть, там есть немножко и от моей Баськи? Ведь было же в ней что-то медвежье.

Немой поединок

Голубенький, хорошенький, он лежал в почтовом ящике как раз так, что угол его виднелся в прорези. Ольга Кириллова заволновалась, никак не могла попасть ключиком, чтобы открыть ящик, а когда открыла, взяла конверт двумя пальчиками с любопытством и опаской.

И действительно, на конверте тонким черным пером был выведен ее адрес и фамилия с невероятным завитком барокко на букве «К»; обратного адреса не стояло.

– Так и знала, – поняла свою опаску Кириллова, поспешно поднялась по лестнице, зашла домой и положила письмо на стол.

Ее лихорадило от любопытства, но именно поэтому было страшно разрывать конверт: что в нем? какая новость? «Чей привет?» Или навет?

Она пошла на кухню, помыла забытые чашки, тщательно протерла и поставила на полку. Огляделась: везде порядок. Делать нечего – надо распечатывать конверт.

«Ах, Кириллова, Кириллова (не называть же мне тебя Ольгой!), могла ли я подумать, что буду тебе писать. Я ненавидела тебя! Строила то изощренные, то грубые, топорные планы, как развести тебя с Гринем, так я звала твоего Григория, когда он любил меня, когда валялся у моих ног, сулил и строил планы развода, которые, подлый, оттягивал. Знаешь ли ты, что летом в экспедицию на Северные озера (тебе сказал «суровый климат, мошкара, антисанитарные условия...») он брал меня. Мы жили в избе, чердак был завален диковинными поделками по дереву, в лесу лежал красный ковер из ягод. Мы собирали их, и целыми днями я колдовала над вареньем – даже тебе перепала банка. Помнишь, земляничное? В конечном счете, мне было жаль тебя: дома, одна, в ожидании скудных вестей, наглаживаешь ему рубашки и не представляешь, сколько еще их ждет тебя в брезентовом мешке после экспедиции.

Мы уходили по озерам на лодках, встречали солнце, видели, как оно озаряло первыми лучами заброшенный монастырь. Я была потрясена и в то же время вознесена этой... даже не красотой, а первобытностью, и еще любовью... Или не знаю, как иначе назвать то состояние, которое освобождало меня внутри до такой степени, что я начала рисовать. Пятнами, цветовыми пятнами... Никогда раньше кисточки в руках не держала. У приятеля, он любитель, взяла краски, холст и рисовала пятнами. Они передавали все, что я пережила в те дни. Благодаря Гриню я заново родилась. Для меня все было решено. Единственной помехой была ты, Кириллова. Или как тебя там, в девичестве. Но женился-то Гринь до меня, я так рассуждала. Ты была данностью, а не любовью. Любовью была я. И прощала ему тебя, ожидая, когда он сам созреет до планов на будущее со мной. Однако было ясно, что раз он темнит, не открывается тебе, то значит не все так просто, и я люто восхищалась тобой: это было нелегко – составить мне конкуренцию в расцвете нашей любви.

Осенью мы часто выходили в консерваторию, иногда в театр или в гости (ты-то думала, на собрания...). Еще чуть-чуть и я бы сама, без ведома Гриня, пришла бы к тебе поставить точки над *i*. Но вдруг он мне: срочное собрание, увидимся потом – суп с котом. И раз, и два. И сверхсрочная командировка, и спецзадание. Я не представляла, что он мне, мне, может лгать. Как тебе...

И вот, когда он был в «командировке», звонит мне знакомый из «Гаваны», юбилей там справлял, и говорит: «Здесь твой Гринь с дамой ужинают». «Вре-ошь!» – я закричала, кажется, трубку расколотила, а сама на такси, думаю, сейчас задущу тебя, вцеплюсь зубами в горло и повисну. Прилетаю, а он выходит с «дамой». Господи, да это же Люська, рыжая, я сама его в гости к ней водила! Такси подъехало за ними. Я как стояла, так и осталась стоять на месте, будто меня молнией поразило.

Кириллова! Я прошу тебя, умоляю, выгони ты этого негодяя. Он изменяет тебе с каждой первой встречной, он бросит тебя, как только подвернется момент. Так не жди ты этого унижения, сделай шаг первой, и он будет казнить себя до конца дней!

Прилагаю свидетелей его измены – фотокарточки.

8 октября 1992 года.»

И в качестве подписи:

«Твоя соперница, твоя сообщница».

Ольга стала рассматривать фотографии. Хорошие, цветные, две.

На одной Кириллов в маскировочной рубахе и панаме сидит в траве со смеющейся женщиной. Волосы у женщины пышные, волнистые – красивые волосы, а улыбка, вернее, смех беспамятный. Кириллов стиснул в зубах травинку.

– Угу, на озерах, – поняла Ольга, – с соперницей-сообщницей.

Таким она помнит его в институтские годы, в походах с ночевкой. И потом, эта травинка – знак внимательности, сосредоточенности Кириллова. Ольга поморщилась: она считала, что таким он может быть только с ней. Несмотря на всю красочность фотобумаги, было видно, что Кириллов выцвел, выгорел на солнце, и это его молодило, сближало с тем институтским времечком. Тогда они поженились и поклялись в вечной любви.

Другой фотокарточке не хватало резкости. Кириллов шел на ней под руку с молодой девицей. Юбка сильно обтягивала ей ноги, стесняла шаг. Девушка смотрела в сторону, и волосы были закручены на макушке в узел.

– Ух, ты, – вырвалось у Ольги, – ведьма какая!

Ее отвлек шум входной двери. Она быстро сгребла письмо и снимки в ящик и пошла встречать мужа.

Он чмокнул ее в прихожей и стал умываться.

– Ужинать не будешь? – спросила она, прислоняясь к косяку у двери ванной. – Собрание?

Григорий коротко вздохнул.

– Замотали меня с этими собраниями. Не пойду сегодня.

– А завтра?

– Ну, уж завтра суббота. Меня и пряником не выманишь. Да и соскучился я по твоим блинам.

– С земляничным вареньем? – усмехнулась Ольга.

Кириллов скривился, как от лимона:

– Лучше с яблоками и со сметаной.

Ольга подкинула ему полотенце и пошла замешивать муку на блины.

Кириллов стал набирать воды в ванну.

Когда он закрылся, Ольга на цыпочках прошла в комнату, взяла из ящика письмо, фотографии и голубой конверт. Порвала на мелкие кусочки – еще подумает, что шпионила – и сожгла в пепельнице на кухне.

Матери-одиночки

Зинаида

У ее прабабушки было семнадцатеро душ детей. Она венчалась с прадедом Иваном в пуповской церкви и прожила всю жизнь на своем подворье, кроме как в район на ярмарку не ездила, и все семнадцатеро Ивановичей и Ивановн были живы-здоровы; бабушка, одна из дочек прабабушки, венчалась в той же церкви с дедом Григорием, и было у нее четырнадцатеро детей. Половину из них она растеряла в разные лета от разных напастей, а под конец жизни ездила на паровозе. Боялась в него садиться, но за мылом и солью тогда ездили в губернский центр, она перекрестилась, зажмурилась и влезла в чмыхающий, чертыхающийся паровоз. А у Зинаиды всего десятеро детей. Ей было шестнадцать, когда из города начали присылать работников то на полевые работы, то на постройку дороги. Работники из них были никудышные, к сельскому делу неприученные – ни знания, ни терпения к нему не имели – зато погулять на вечеринках, с пуповскими девчатами на лавочке семечки полужать – это медом не корми. А Зинаида была видная, крупная, в шестнадцать лет тянула на все двадцать, по развитию, по тонкой талии, по груди высокой и по бровям мягким, круглым, ласковым. Смеялась она громко, заливисто и в разговор вступала охотно: ей все интересно было. И один из работников, гитарист, на досуге, особо ладно ей байки рассказывал, да когда песни пел под гитару с лентой, в глаза ей смотрел и щурился, а после провожать пошел, хотя что там в деревне провожать – три двора прошел и уже дома. Но как бы там ни было, около третьего двора задержались, застоялись, заговорились. И так весь месяц, пока полевые работы шли. О Зинаиде и гитаристе уже не шептать, а в открытую говорить стали, когда время работ вышло и гитарист взял подмышку гитару, запрыгнул в кузов грузовика, который доставлял их на станцию, и помахал Зине рукой. Зина тоже помахала и осталась стоять на дороге. Да не одна осталась, а с будущим потомством, которое не замедлило появиться в назначенный срок. Люди давно не судачили о ней, ругали городского гуляку и жалели Зинаиду. А у Зинаиды вид был цветущий, она похорошела, румянцем налилась, всё смеялась и с младенцем своим играла.

На следующий год приехали новые работники и опять у Зинаиды вышло приключение. Работники укатили, а Зинаиду Бог двойней пожаловал. Мальчиками. Тут колхоз выделил ей отдельную хату и стал хлеб на дом завозить матери-одиночке: мать-то одиночка, а детишек – трое, – в помощь.

Больше Зинаида городскими не интересовалась. Свои сельские стали интересоваться ею и захаживать. И что ни год, то приплод. Один очень походил на комбайнера Ваську, другой на шофера Лешку (у того своих трое да жена в хозяйстве), третий на тракториста Тольку.

Зинаиду все по имени-отчеству величать стали, Зинаидой Ивановной, соседи, кто мог, нес ей то меду, то яиц, не говоря про Ваську, Лешку, Тольку. Те при случае закидывали то корму для скотины, то платок, то для ребятни какую пару башмаков любого размера: ни одному, так другому сгодиться. Зинаида уже путала, кто какого отца из ее сыновей и дочек, только по отчествам и вспоминала, а фамилия у всех была одна, Зинаидына – Талалай. Люди же ее детей звали Зинаидычами.

Колхоз ей отпустил из своих стад корову, свиней, трех коз, поставил телефон – единственный на все село, и к ней ходили звонить, особенно те, у кого дети уехали из дому, и Зинаида никому не отказывала. При встрече ей кланялись, а за глаза говорили «Зинаида Ивановна, она ж святая, ни от одного дитеньша не избавилась. Мать-героиня».

Отец шестого Зинаидыча Толька мало-помалу прибилсь ко двору Зинаиды Ивановны и стал жить там, как жила ее корова или козы. После рождения второго Анатолича Толька сде-

лал Зинаиде Ивановне предложение и они расписались в сельсовете. Свадьбу опять же устроил колхоз. Поставил во дворе сельсовета длинным рядом столов и позвал народ, чтобы каждый приходил со своей закуской, а водка будет казенная. Народ нес закуску корзинками. Все тут было: и пироги, и пышки, и запеканки, и пряники, и паляницы, и холодцы, свиной и петушиный, и соленья, и яблоки с арбузами моченые, и огурчики-помидорчики, и колбаса домашняя, и варенье вишневое, с крупными вишнями в густом тягучем соку, и чего только душа не пожелает. У Зинаиды Ивановны, матери семерых детей, на гладком румянном лице не было ни морщинки, ни складочки, волосы ее были зачесаны назад и убраны веночком из живых цветов, а нарядное темно-красное платье делало ее стройней обычного и даже подчеркивало остатки былой тонкой талии. Да и люди не привыкли ее видеть такой праздничной, нарядной; всегда она была в простой юбке да кофте, в которой ходила по хозяйству и за детьми. Усаживала их с утра за стол на лавку, ставила миску яиц крутых и по одному катила каждому, сначала старшеньким, в конце стола, потом младшеньким, поближе. Яйца катились с грохотом, дети ловили их и пускали по кругу солонку. А теперь вот на свадьбе мать их была совсем молодичей. Взяла в руки платок, да еще сплясала под гармошку. И все было бы хорошо, если бы Толька не напился в дым. Не разобрался, когда время было остановиться, а гости все подливали и подливали, и он перебрал. Так перебрал, что домой, к Зинаиде Ивановне, его отнесли на руках. Он и раньше прикладывался к горькой, но до такой степени в первый раз. Зинаида Ивановна, видя храпящего пьяного мужа, унывать не стала, а легла спать, как обычно, с детьми – в ее жизни ничего не изменилось.

Зато изменилось в жизни Тольки. Он проснулся, похмелился и узнал, что он женат. Дошло до него после перепоя, отшибшего память. И женат не на девице, а на многолетней матери, и дети у нее все с разными отчествами. Это вдруг кольнуло трактористово самолюбие, он причесался и посмотрел в зеркало. Что ж, парень вполне, мог бы себе и невестную отыскать. Что ж он так опростоволосился, последний после всех на бабе женился?

Прибежал старшенький Анатолич – шестой Зинаидын – стал на руки карабкаться, клекотать что-то на сладком детском языке. Толька подержал его, подержал, не слушая – мысли черные слух застилала, – поставил на землю и шлепнул: иди, гуляй. Сам ушел на работу и вернулся оттуда пьян и тут уж излил свою обиду на жену: обозвал ее по – всякому. Зинаида Ивановна рот открыла от удивления: такое она впервые слыхала.

Сцена была шумная, с бабьими и детскими криками на всю хату, на весь двор и по соседским дворам разошлась. Пошел слух, что муж бьет Зинаиду Ивановну. Когда крики повторились и раз, и два, Тольку подловили на посадке Васька и Лешка и пара других пуповских мужиков, всыпали ему и предупредили, что если он еще раз тронет Зинаиду, от него мокрого места не останется. Толька приполз домой по-пластунски и последовал прямо на сеновал. Там и отлеживался две недели.

После этого он стал смирным, стал пить по-тихому, хозяйством не интересовался, разве что свой трактор не забрасывал. Мало-помалу к нему прилепилась кличка Зинаидыча. А зинаидычей прибыло. Теперь их, не считая Тольки, было десятеро, и все для приличия ли, в соответствии ли с действительностью записаны были Анатолевичами.

Люди Зинаиде Ивановне при встрече кланялись. Благодаря числу ее детворы в Пуповке не закрыли школу и оставили медпункт с фельдшером между тем, как в соседних селах убрали, и детишки оттуда ходили учиться в Пуповку. Ей одной из всего села, не считая собственных родичей, присылала открытки к Новому году сама Аделаида Мостовая – заслуженный и широко известный общественный деятель.

Аделаида

Она родилась в Пуповке в том самом медпункте, который до сих пор не закрыли, в том же самом году, что и Зинаида. Но ей повезло меньше, чем Зинаиде: в пятилетнем возрасте ее увезли в город. Вынули из храма природы, каковым была Пуповка с ее небом, не заслоненными высотками, с ее полями, не погребенными асфальтом, и поместили в город. Она чахла, хирела, но все-таки одужала и прижилась. В Пуповку ездила только на каникулы, да и то с годами все реже и реже – город засосал. И не столько город, сколько Аделаидыны таланты и амбиции. Она оказалась способной к науке, и учителя хором твердили, что нет большего счастья, чем учиться в высшем учебном заведении.

И Аделаида вся сосредоточилась на этом. После школы она поступила в областной университет и почти погребла себя в читальных залах. Не дала сделать этого до конца ее красота. К восемнадцати годам Аделаида сделалась писаной красавицей и молодые люди не давали ей проходу. Она нашла, что флирт с ними очень хорошо помогает отдохнуть от трудов библиотеки. Но хорошую книгу она считала занимательней молодых людей. И потом они ее интересовали только для галочки в донжуанском списке, покорила, влюблен, в сторону. Ей было занятно испытывать силу своих чар. Это как способность к наукам: усилия минимальные, а результаты оптимальные. Если же кто из молодых людей пытался пойти далее дежурного флирта, Аделаида обрывала знакомство.

К тридцати годам Аделаиде – кто бы мог подумать – наскучили библиотеки, симпозиумы, конференции, выставки, премьеры и лекции. Они ее больше не занимали; Аделаида поняла, что все это не более, чем дополнение к чему-то главному, чего у нее нет. Ну, провели международный слет по случаю 150-ой годовщины смерти Пушкина (драмтеатр отметил ее новой постановкой маленьких трагедий), ну, осмыслили его наследие, но наследию-то это ничего не прибавило, да и говорено-переговорено о нем уже столько, что достойней помолчать. Но, может, Пушкин вовсе не при чем, может, Аделаиде просто все наскучило. «Замуж тебе надо, – посоветовала мать, – царевна ты Несмеяна. Да детишек». «Видно, так» – молча согласилась Аделаида и решила, кто первый посватается, за того и пойдет.

Первым оказался человек ее возраста. Он стал объясняться в любви, однако, не сватаясь. И Аделаида решила поверить. Поверила. Завязался роман, бурный и неосторожный до такой степени, что вскоре Аделаида узнала, что она в ожидании. Сообщила об этом своему избраннику, а он занервничал, предложил устроить больницу, где у него есть знакомый и делает все чисто, с анестезией, заснешь на десять минут и ничего не почувствуешь. Аделаида, ждавшая предложения руки (сердце, ее уверили, уже было у ее ног), сначала не поняла, о чем он толковал. А когда поняла, побледнела, задрожала, закричала: «Вон!» «Да не могу я! – закричал в ответ ее избранник. – Женат я!»

Так Аделаида стала матерью-одиночкой, и поняла, что все лекции, конференции и премьеры вместе взятые не стоят лепета ее дочки. Она ужаснулась, на что извела свою молодость, когда могла бы уже иметь несколько таких чудных дочек, а было б Богу угодно, и сыночков.

На глаза ей попались материалы об инквизиторских пытках в средневековой Европе; особенно жестоким и непристойным истязаниям подвергались матери-одиночки. Им вводилась стальная груша, которая раскрывалась внутри на лепестки. Какое варварство! А еще Европа, источник просвещения! Противно и гадко. Мать-одиночка – это такое же явление природы, как выпадение осадков или ветер. Но никому же не приходит в голову казнить дождливый день. Да и на Украине такую бедняжку собственные родители вынуждены были гнать со двора, иначе им не давали житья односельчане. Чепуха какая-то! Но тем не менее эти размышления о далеком негуманном прошлом так запали в душу Аделаиды, что она как можно быстрее вышла замуж, чтобы избавиться от них. Вышла она замуж за солидного человека, заведующего

кафедрой научно-исследовательского института. Он показался ей человеком надежным, добропорядочным, на которого можно опереться. Действительно, сразу после росписи, он предложил удочерить Аделаиду девочку. И Аделаида согласилась с легким сердцем. Муж старался для девочки, все покупал, обещал записать на нее дачу с загородным участком. Безусловно, на этого человека можно было положиться, от него веяло крепостью, устойчивостью и защитой. За ним можно было жить, как за стеной. Но вскоре Аделаида начала себя ловить на том, что это не стена, а застенок. Муж оказался человеком очень правильным, функционировал, как добротный механизм по четко установленному распорядку. Это еще бы ничего, но беда, он и с Аделаидой начал требовать функционировать по тому же распорядку да еще в роли внутренней шестеренки. Возразить на все справедливейшие требования механизма было нечего, но все существо Аделаиды протестовало; она начала болеть непонятными болезнями и чахнуть. И зачахла, если бы к ним в театр не перевелся новый актер, который быстро понял ситуацию и стал уделять Аделаиде немного времени после репетиций. Он объяснил Аделаиде ее диагноз и посоветовал влюбиться. Пожалуй, к тому времени Аделаида уже была влюблена в него, на ее щеки начал возвращаться румянец, в глаза блеск, а на уста смех. Она почувствовала к своему исцелителю примерно то, что чувствовала по отношению к своей девочке; иное, конечно, но такое же светлое, радостное, полноводное. Она стала задерживаться с ним после спектаклей и возвращаться домой очень поздно, вернее, очень рано, когда еще не вставало солнце. Муж устроил дикий скандал, собрал вещи и к великой радости Аделаиды ушел. Через месяц Аделаида подала на развод. Делить им было нечего: жили они в ее квартире, полученной от театра, мебель была случайная, не представляющая никакой ценности, машины не было, свою дачу он ни на кого не записал. Развод обещался незатруднительным; каков же был шок Аделаиды, когда она узнала, что муж подал заявление на передачу ему на воспитание ее дочери. У Аделаиды отнялся язык и пропал дар речи. Он мотивировал свое заявление тем, что Аделаида морально неустойчива, распутна и дочерью никогда не занималась. Но самое неприятное, что для закона приемный отец имел такие же права на дочь, как и родная мать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.